

**Набоков В. Лекции по русской литературе.**  
– СПб.: Азбука, 2010. – С.369-390

**«В овраге» (1900)**

Действие рассказа «В овраге» происходит полвека назад – рассказ был написан в 1900 году. Место действия – русское село Уклеево. Село это было известно лишь тем, что «как-то на поминках... старик дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно околел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру всё помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали». Или вернее, кроме этого и нечего было рассказывать. В этом эпизоде по крайней мере слышалась веселая человеческая улыбка. Все остальное было не только будничным, но и злым – серое осиное гнездо обмана и несправедливости. «Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом; в одном помещалось волостное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин». Оба этих дома – обиталища зла. Все в рассказе, за исключением детей и Липы – женщины-подростка, представляет собой ряд последовательных обманов, ряд масок.

Первый обман. «Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый». С этим Григорием произойдет интересная метаморфоза в рассказе.

У старого Григория два сына, один из них – глухой, помогавший отцу по дому, женат на приятной с виду, здоровой молодой женщине, оказавшейся на деле сущим дьяволом, другой – служит в полиции, он холост. Вы заметите, что Григорию очень по душе его невестка Аксинья: почему – вскоре станет ясно. Старый Григорий, вдовец, женился вновь, новую жену его зовут Варвара: «Едва она поселилась в комнатке, в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла.

Засветились лампадки, столы покрылись белыми как снег скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка». Она тоже поначалу кажется доброй, очаровательной женщиной, во всяком случае лучше старика. «Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было Стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки...»

Григорий – тяжелый человек, и, хотя он мещанин, вышедший из крестьян (отец его, вероятно, был зажиточным крестьянином), он ненавидит крестьян. Потом начинается:

Второй обман. Под веселостью Аксиньи таится та же страшная суть, поэтому Григорий так восхищается ею. Эта красавица нечиста на руку. «Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала и как сердились покупатели, которых она обижала; и в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай; раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко».

Затем следует небольшой переход к ситцевым фабрикам и их владельцам. Назовем их

для простоты Хрымины.

Третий обман (супружеская измена). Аксиныя не только обманывает покупателей в лавке, она также обманывает мужа с одним из этих фабрикантов.

Четвертый обман. Всего лишь небольшой подлог, род самообмана. «Провели телефон и в волостное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал:

- Да, теперь нам без телефона будет трудновато».

Пятый обман. Он связан со старшим сыном Григория, полицейским Анисимом. Тут мы оказываемся в самом логове обмана. Но Чехов не открывает всей правды об Анисиме: «Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги, в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре: „Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности“». Здесь кроется какая-то тайна, которая потом разъяснится, – как, например, слова: «чьим-то чужим почерком, очень красивым».

Однажды он возвращается домой, и что-то в нем выдает, что его уволили из полиции, но случай этот никого не трогает. Наоборот, он представляется праздничным, Анисима хотят женить. Варвара, жена Григория и мачеха Анисима, говорит: «Как же это такое, батюшки? Этих-тех, парню уже двадцать восьмой годочек пошел, а он все холостой разгуливает, ох-тех-те...

Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох-тех-те». Она стала шептаться со стариком и с Аксиной, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков. Решили женить Анисима».

Тема «детей». Переход к главной героине рассказа, девушке Липе. Она была дочерью вдовы-поденщицы и помогала матери на поденной работе. «Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая от работы на воздухе; грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски — доверчиво и с любопытством.

Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться, это – ее большие мужские руки, которые теперь празднично висели, как две большие клешни».

Шестой обман связан с Варварой, которая хоть и приятна на вид, но на самом деле под пустой оболочкой «е поверхностной доброты ничего нет. Таким образом, вся семья Григория – оборотни, прикрывающие обман.

Затем появляется Липа, а вместе с ней – новая тема: тема доверия, детского доверия.

Вторая глава заканчивается еще одним штрихом в характере Анисима, Он фальшив насквозь: с ним случилось нечто ужасное, и он неумело скрывает это. «После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал или же, вдруг вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро, на Красной Горке, ни желанья повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай: сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды, – был как-то особенно развязан и говорил не то, что нужно».

В третьей главе обратите внимание на светло-зеленое ситцевое платье Аксины, сшитое к свадьбе Анисима и Липы. Чехов последовательно описывает ее как пресмыкающееся. (На востоке России водится вид гремучей змеи, которая называется «желтое брюшко».) «Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксиныя – светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом». Хотя про портних сказано, что они хлыстовки, в начале века это не значило, например, что они хлестали друг друга. Хлысты были

одной из многочисленных сект в России. Григорию даже удается обмануть двух бедных девушек: «Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать».

Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое.

Степенно помолвившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и десять полтинников; и Варваре дал столько же, Аксинье – двадцать четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце». Это были фальшивые деньги. Автор намекает на Самородова, друга и сообщника Анисима, хмурого тщедушного человека с красивым почерком, которым написаны письма. Постепенно становится ясно, что Самородов руководит их подпольным предприятием, но Анисим всячески старается набить себе цену, хвастаясь своей необыкновенной наблюдательностью и способностями полицейского. Как полицейский и как мистик, он знает, однако, что «украсть всякий может, да вот как сберечь!». В этом любопытном персонаже сквозит какая-то занятная мистика.

Прелестно описаны приготовления к свадьбе и настроение Анисима в церкви. «Его вот венчают, его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у Бога, чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши».

На мгновение возникает «детская» тема. «Послышался тревожный детский плач: «Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!» — «Тише там!» — крикнул священник».

Затем появляется новый персонаж; Елизаров (по прозвищу Костыль) — плотник и подрядчик. Это трогательное существо, очень мягкий и наивный и немного выживший из ума человек. Он и Липа – одинаково мягкие, простые и доверчивые люди, и оба они очень человечны, зато в них нет изворотливости, присущей злым персонажам рассказа. Костыль как будто одарен предвидением, он интуитивно стремится предотвратить катастрофу, которую повлечет за собою эта свадьба: «Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и Царица Небесная вас не оставит. <...> Деточки, деточки, деточки... — бормотал он быстро. — Аксиньюшка-матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные...» Он называет людей уменьшительными именами своих инструментов.

Седьмой обман. Еще одна подмена, еще один обман относится к волостному старшине и волостному писарю: они, «служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая». «Пропитались неправдой» — это и есть один из лейтмотивов рассказа.

От вас не ускользнут разнообразные подробности, связанные со свадьбой: бедный Анисим, предающийся размышлениям о своем бедственном положении, о роке, нависшем над ним; какая-то баба, кричащая на дворе: «Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!», и замечательный портрет Аксиньи: «У Аксиньи были серые, наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с

желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко, что казалось, стрелял из пистолета.

Но вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения:

– Сам вышел! Сам!

Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками, но те, которые там, во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему всё – и его богатство, и обиды.

– Молодчина Григорий Петров! – слышалось в толпе. – Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься! Ха-ха!

Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощанье певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому:

– Свадьба две тысячи стоила.

Когда расходились, у Шикаловского трактирщика кто-то обменял хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:

– Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!

Он выбежал на улицу, погнался за кем-то; его поймали, повели под руки домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли».

Через пять дней Анисим, уважающий Варвару за ее порядочность, признается ей, что он в любую минуту может быть арестован. Когда он уезжает в город, следует замечательная сцена: «Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад, на село. Был теплый, ясный день. В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху и внизу, пели жаворонки. Анисим оглядывался на церковь, стройную, беленькую — ее недавно побелили, — и вспомнил, как пять дней назад молился в ней; оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с одним прошлым».

Это его последняя мысль.

А затем с Липой происходит чудесная перемена. Грехи Анисима не только томят и его и Липу, но и сам он кажется Липе их олицетворением, хотя она совершенно не представляет себе его запутанной жизни. Теперь, когда он уехал, они больше не тяготят ее, и она свободна: «Босая, в старой, поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок».

Теперь Чехов должен справиться с труднейшей задачей. Он хочет воспользоваться тем, что Липа наконец заговорила, чтобы заставить ее, молчаливую, бессловесную, найти слова и заговорить о фактах, которые приведут к катастрофе. Она с Костылем возвращается с богомолья, мать идет позади, и Липа говорит: «А теперь Аксиньи боюсь... Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины Младшие ее сбивают: «У вашего старика, говорят, есть земляца Бутёкино, десятин сорок, земляца, говорят, с песочком, и вода есть, так ты, говорят, Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем». Кирпич теперь двадцать рублей тысяча Дело спорое. Вчерась за обедом Аксинья и говорит старику: «Я, говорит, хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчиха». Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели; видно, не понравилось. «Пока, говорят, я жив, нельзя

врозь, надо всем вместе». А она глазами метнула, зубами заскриготела... Подали оладьи — не ест!»

Когда они подошли к межевому столбу, Костыль потрогал его: прочен ли, — деталь, характерная для этого персонажа. В этот миг он, Липа и девушки, собирающие грибы, выглядят счастливыми, наивными, милыми людьми на фоне страдания и несправедливости. Они встречают идущих с ярмарки: «То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь и точно была рада, что ее не продали...» Между Липой и счастливой непроданной лошадью намечается неявная символическая связь. Хозяин Липы исчез. И еще один момент, отражающий тему «детства»: «Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах; мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу; уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно». Липа присматривается и прислушивается к этому мальчику, потому что она сама должна скоро родить. В следующем отрывке: «...Липе и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных, кротких душ, — быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила...» — я хотел бы обратить ваше внимание на выражение: «кроме своих испуганных, кротких душ». И отметьте еще прекрасное изображение летнего вечера:

«Наконец вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обычно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай; и горела на столе лампа.

- Дедушка-а! — говорил за воротами косарь, как бы дразня. — Заплати хоть половину! Дедушка-а!»

На следующей странице Григорий понимает, что серебряные рубли фальшивые, и отдает их Аксинье, чтобы она бросила их в колодец, но она отдала их косарям. «Озорная ты баба», — говорит Григорий, ошарашенный и встревоженный.

«И зачем ты отдала меня сюда, маменька?» — спрашивает Липа свою мать. После пятой главы проходит определенный отрезок времени.

Одно из самых пронзительных мест в рассказе — эпизод в главе шестой, когда решительно и блаженно равнодушная ко всему, что происходит (к заслуженной участи ее недоумка мужа и к страшному змеиному злу, исходящему от Аксиньи), решительно и блаженно отнесясь от всякого зла, Липа поглощена своим ребенком, делясь с этим чудотворным младенцем своими собственными, самыми красочными впечатлениями, единственным ее представлением о жизни. Она подбрасывает его на руках и в такт нараспев повторяет: «Ты вырастешь большо-ой, большой! Будешь ты мужи-ик, вместе на поденку пойдем! На поденку пойдем!» Точно так же, как ее самые яркие воспоминания детства связаны с мытьем полов. «Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? — продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. — Кто он? Какой он из себя? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает».

Эта глава кончается тем, что Анисима приговаривают к шести годам каторжных работ и ссылают в Сибирь. Затем еще одна прелестная подробность — старый Григорий говорит: «С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими... И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатыч, все, бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот, бывало, дяденька как выпьет, то смеется: „Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие“. Легкий ха-

ракти, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые.

– Ну, вот, Бог с тобой!

– Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, – будто они фальшивые. И страшно мне. Должно, нездоров».

С этой минуты у него мешается рассудок, вернее, он чувствует себя спасенным.

«Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.

Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай, — сказал он. — И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова... — Он перекрестил ребенка. — И внука береги. Сына нет, так внучек остался.

Слезы потекли у него по щекам; он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко, после семи бессонных ночей».

Это была счастливейшая Липина ночь — до ужасных происшествий, которые последовали за ней.

Григорий пишет завещание, по нему земля в Бутёкине, на которой Аксинья жгла кирпич, переходит Никифору. Аксинья в ярости. «Эй, Степан! — позвала она глухого. — Поедем в одну минуту домой! К моему отцу, к матери поедем, с арестантами я не хочу жить! Собирайся!

Во дворе на протянутых веревках висело белье; она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала.

- Ой, батюшки, уймите ее! — стонала Варвара. — Что же она такое? Отдайте ей Бутёкино, отдайте, ради Христа небесного!»

Затем происходит кульминация.

«Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Аксинья вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе...

– Отдай сюда! – проговорила Аксинья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. – Не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть!

Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла и вся помертвела...

- Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.

После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой... Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там».

Враг уничтожен, Аксинья вновь улыбается, земля автоматически перешла к ней. Глухой, развешивающий белье, — гениальная чеховская находка.

Детская тема продолжается, когда Липа идет пешком весь долгий-долгий путь из больницы. Ее ребенок умер, она несет его тело, завернутое в одеяло.

«Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.

Чего же тебе еще? — говорила женщина тихо, в недоумении. — Чего же тебе?

Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе.

— Не пьет... — сказала Липа, глядя на лошадь».

На эту небольшую группу нужно обратить внимание. Мальчик — не ее. Вся эта группа символизирует семейное счастье, которое у нее отнято. Отметьте неназойливость чеховского символизма.

«Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова» запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: „И ты такова! И ты такова! Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!»

Хороший писатель отличается от плохого уже тем, что у плохого обычно поет один соловей, как в пошлых стихах, а у хорошего — заливаются несколько, как в природе.

Люди, которых встречает Липа, вероятно, торговцы запрещенными спиртными напитками, но Липе они кажутся другими в лунном свете.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

—Нет. Мы из Фирсанова.

Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягло. (Почти библейская интонация в русском тексте.) И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

— Тебе далече ли?

— В Уклево.

— Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево.

— Вавила сел на подводку с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди.

— Мой сыночек весь день мучился, — сказала Липа. — Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи батюшка, Царица Небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто ж его знает! — ответил старик. Проехали с полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачем да как, — сказал старик. Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает. <...>

— Ничего... — повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь долгая, — будет еще и хорошего и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме, — если помер, то Царство ему Небесное, — глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола ни двора; баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия! — сказал он, и опять посмотрел в стороны, и оглянулся. <...>

— Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли; все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик; он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и

долго не мог выговорить ни слова и только чмокал губами.

– Эх, Липа, — проговорил он, — не уберегла ты внучка...

– Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка.

– И мальчик-то был хорошенький... — приговаривала она. — Ох-тех-те... Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая...»

– Безгрешной Липе даже не пришло в голову рассказать людям, что ее ребенка убила Аксинья. Семья явно поверила, что Липа по неосторожности случайно ошпарила ребенка, перевернув ковш с кипятком.

– После панихиды — «Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей:

– Не горюйте о младенце. Таковых есть Царствие Небесное.

– И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишняя; и другие это тоже чувствовали.

– Ну, что голосишь там? — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях; по случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась. — Замолчи!

– Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.

– Слышишь? — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. — Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!

– Ну, ну, ну!.. — засуетился старик. — Аксютка, угомонись, матушка... Плачет, понятное дело... дите померло...

– Понятное дело... — передразнила его Аксинья. — Пускай переночует, а завтра чтобы и духу ее тут не было! Понятное дело!.. — передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку».

Тонкая нить, связывавшая Липу с этим домом, порвалась, поэтому она навсегда уходит отсюда.

Тайное становится явным всегда и всюду, только не с Аксиньей<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Набоков предваряет этот абзац следующим обращением к аудитории: «Между 8-й и 9-й главами опять имеет место провал во времени. Заметьте восхитительное чеховское искусство детали в эпизоде, когда Хрымины, один из которых (если не все они) состоит в интимной связи с женой глухого, дарят ему золотые часы «и он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху». — Ф. Б.

Механические свойства Варвариных добродетелей прекрасно проиллюстрированы тем, как она варит варенье: его слишком много, оно засахаривается и становится несъедобным. Мы вспоминаем, что бедная Липа так любила его. Варенье мстит Варваре.

Письма от Анисима, написанные тем же великолепным почерком, все идут и идут — видно, его дружок Самородов отбывает вместе с ним срок на сибирских рудниках, так что и здесь правда выходит наружу. «Я все болею тут, мне тяжело, помогите, ради Христа».

Полубезумный старик Григорий, жалкий, всеми забытый, самый светлый голос истины в рассказе: «Однажды — это было в ясный осенний день, перед вечером — старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.

– Дети должны кормить стариков, поить... чти отца твоего и мать, — говорил Яков с раздражением, — а она, невестка-то [Аксинья], выгнала свекра из собственного дома. Старику ни поесть, ни попить — куда пойдет? Третий день не евши. Третий день! — удивился Костыль.

- Вот так сидит, все молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд, — ее б в суде не похвалили.

- Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав. - Чего?

- Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя... без греха то есть...

Из собственного дома, — продолжал Яков с раздражением. — Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!

Цыбукин слушал и не шевелился.

- Собственный дом или чужой, все равно, лишь бы тепло было да бабы не ругались... — сказал Костыль и засмеялся. — Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И, бывало, все: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а все говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.

Муж-то глухой, глупый, — продолжал Яков, не слушая Костыля, — так, дурак дураком, все равно что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой -и то не поймет.

Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду».

Появление нового персонажа, старого беззубого сторожа Якова, в этой последней главе — еще одна гениальная находка Чехова, напоминающая о том, что жизнь продолжается; и хотя рассказ кончается, он будет продолжаться, потечет дальше, как течет сама жизнь, вместе с новыми и старыми действующими лицами.

Обратите внимание на обобщение в конце рассказа: «Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх». Блестящий змеиный хвост, символ Аксиньи, тускнеет и исчезает в спокойном блаженстве ночи. «Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.

Здравствуй, Макарыч! — сказала Липа, увидев Костыля. — Здравствуй, голубчик!

Здравствуй, Липынька! — обрадовался Костыль. — Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо! Деточки мои, деточки (Костыль всхлипнул). Топорики мои любезные». Костыль не самый главный, но в общем добрый гений этой истории — он живет как в чаду, он произнес добрые напутственные слова на свадьбе, как бы пытаясь (но тщетно) предотвратить несчастье.

Старик Григорий заливается слезами — слабый и молчаливый король Лир.

«Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

- Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.

Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».

Липа опять та же, она растворяется в песне, счастливая в своем тесном мире, связанная незримыми узами со своим мертвым ребенком в этих прохладных сумерках, — и в невинности своей, сама того не сознавая, несет своему Богу розовую пыль кирпичей, осчастлививших Аксинью.